

П О Э З И Я

Ярослав Азумлев

ФУГИ И СИМФОНИЯ

Я С ЖИЗНЬЮ РЯДОМ

ФУГА

Я с жизнью рядом. Но не вместе с ней?
/А лишь во сне?/ Но как тогда? Бок-о-бок?
Размежевнее иль тесней?
Измучен? Безразличен? Или робок?
Она ль покойница иль сам я гроб,
/поваленный?/ /поваленный колодой?/
Она ли дышит изо всех утроб
/и от нее несет дебелою природой?/

Я с жизнью не подвижно лежу,
но жалости я не подам и вида,
лишь с чьих-то век слезу тяжелую слижу.

— Помилуй, Господи, царя Давида
/и кротость яростную/. Ты — моя бесстыда,
и между нами провожу
такую чуждую между.

Слижу, но слажу ли с тобой, моя обида,
/тяжелая и слезная/. Слежу
свое остылое, бобылый свой очаг
и тело длинное тяну подобно кличу
/о смерти/. Неужель я так зачах,
что всяческие мелочи в очах
/в отчаянных/ до боли увеличу?

Я с жизнью рядом, и глаза — в глаза
вонзаются все злее год от года.
Из худа ни добра нет, ни исхода.
Да и не надо! Вот она, свобода!
Лежать, не разумея ни аза,
как с вековой колодой колода.

Жить — как лежать. Привычейшая жуть!
И с боку на бок,шу хоть как-нибудь!

О нежить нежная! Соленая русалка
И медленная сонная вода.
Лежится мне ни шатко и ни валко,
/Свобода боли, право — не беда! /

Ты жизнь иль женщина? Я с жизнью рядом,
с такой лобастой, на месте, вплевь...
Не поздно ли идти из дна к наядам?
Соленый всплеск очей? Ты — женщина иль Невь?
Показательность она непрочь. Молчит.
/Пока не телится и не мычит
и, сбоку будучи, отсутствует сурово,
в фиалку превращенная корова./

Ты — вывернутый изнанку миф,
Ты — лежбище ума, одетого вничку,
ты — чуждая кума. С тобою покумив
какого-то себя /и руки притомив/
я счастье — словно птичку-невеличку
в грудную клетку — запер и гляжу,
как длинно с жизнью рядом я лежу.
Как медленно! То как сама стихия,
То от бессилия зевая жалко,
как Зевс безрогий во весь рот. Ах, Ия!
Фиалка, телка, девка и русалка!

Скажи мне, жизнь моя, тихонько, кто ты!
Хоть не ушко одно словцо шепни!
Зачем молчишь, глядя во все пустоты?
/где только камни под ноги да пни./

Утрата — как отрава мне к рассвету,
и разом выпить, право, просто яд.
Но всякий раз глаза с утра вопрос тают.
Они при мне и вечность простоят,
глаза, которых, может быть, и нету.

С недадой-жизнью пребывая рядом,
я обнимаясь неуемным взглядом,
как лядвеи огромным, и всем стадом

устремлю сиягу, голову сложу
под этот взгляд, где брезжу и блажу,
где еле брезжу, жалобно и нежно,
где чуть ворочаюсь /брезгливо и небрежно/...

Я с жизнью рядом - с Блазнью или с Блажью? -
благословляя силу вражью,
русалочки - ничейные глаза,
лежу, не разумея ни зла.

АВВАКУМ

А я ничто же есмъ. Рекох и паки реку: аз есмъ
человек грешный, блудник и хищник, тать и убийца,
друг мытарям и грешникам и всякому человеку
лицемерец окаянный.

Аввакум, "Житие".

Аз есмъ, помилуй, Господи, ничто.
То пусто место, где гулять пущу свободу -
Гуляй, голубушка! - я - то решето,
которым носят животворну воду.
Двось - велико слово. Он - да Бог,
кому я верую, по ком ярится сердце.
И паки вам реку, аки рекох
с усердием смиренным лицемерца.
Я сам в себе, как пес приблудный сдох
и есмъ ничто, привольная пустыня,
стоячий час, забитый точно кол.
Ох, матушка-царица-благостины,
не стыдно ли тебе, что я по-райски гол?
Что я живу по образу Адамлю
и вкривь гляжу да и умишком храмлю
и велемудрствую ногой?
И пред меня приходит грех нагой.
Ты, Творивый из меня ничто,
а из ничта звериную скотину,
когда вериги, точно долото,
долбят простор, и нету мне притину,
и каждый грех, как юный разгильдай,

шатается с кровавой пуповиной.
Голубушка+головушка, гуляй,
поколе не пришла к попу с повинной.
Нет, Протопоп тебя не усечет
и не подаст себе на блюде,
и я, как дождь иду невперечет
кровинками во бледном блуде.
И сторожем пустое я блюду,
как вечный чин, святой и осиянный,
и вешему, о людие, суду
я буду лицемерец окаянный.
И стоя, как на камне, на пустом
и черствым осеняючись постом,
я зевираюсь как соромный сказ
и умираю за единый вз.

1971

ДЕРЖАВИН
/ЖИЗНЬ ЗВАНСКАЯ/

Собой не может быть никто.

Г.Державин

Я без возваний жил во Звонке,
где звонки соловьи поют.
Приблудной Музее-оборванке
во флигеле я дал приют.
Она на пяльцах вышивала
апостолов, орлов и львов,
и Дашенька не выживала
из флигеля мою любовь.
Ни в чем шиту не перече
оне ложились на кровать -
любил обеих он, так нече
обеим было ревновать.
И он не чаял в них измены,
ниже волнения молвы.
Сколь верны Россия Камены!
И жены тоже таковы.

Да что льпит! Будь он неладен!
Висит промежду перекладин.
Но невозможно жить без жертв.
Воистину, тот жив, кто гладен,
кто сът да гладок — полумертв.
Покой мой дряхлый мне отреден,
и нет во мне бесовских черт,
и если все еще я жаден,
то вот уж не до райских гадин!

Ужели жил я долго вскую
на животрепетном краю,
очами глядя волховскую
всегда пременную струю?
А дура-Муза говорила
на перепутии стихий:
"Люблю тебя! Крути, Геврила!
И перемалывай стихи!"

Но так ли глупы те чинуши,
которым вечность суждена,
что прозакладывают души
под милости и ордена?
А что им крикнуть? Не турбо же,
сим комнатным и гончим псы?
На них управы нету, Боже,
про то Ты ведаешь и Сам.

Но Звонка, Звонка, крепостная
моя красавица со мной,
и доживаю допоздна я
хозяйски жизнью запасной.
Домаю понемногу время,
в отставку выгнав целый век,
сижу во Звонке, как в гареме
я, православный человек.
По осени брошу по ржавой,
когда дожди меня поят,
и я Российской державой,
как бабой доброю, объят.

Шагаю по стерне шершавой,
хлебаю живописны щи.
А что там слышно за Вершавой?
Европа ропщет? Ну, ропщи!

Живу во Звенке я под старость.
Приди, отец архимандрит,
и зри, как оная мудрит,
ввергаясь и в покой и в ярость.
Займи очей моих ревнивых,
иди по строгой борозде,
и зри, как блещут зори в нивах
и стелют шелком по воде.
Внемли же стук колес и гумен
и песнь, что бьет ключом из дев,
и за меня молись, игумен,
молебен яко длань воздев!

Я в иноческий чин не лезу,
и все мое еще при мне!
Да уподоблюсь я железу
и звездному огню в кремне!

Устроим нынче мы смотрины
для полнотелой осетрины.
Приди же, отче, а на нас
умильно глянет ананас.
На должно тут же сядет место
и белорыбица-невеста,
преображенная в балык.
Развятся крохотны пороки,
когда, еще слагая строки,
пинт уже не вяжет лык.

Да будешь, Боже, ты преславен
во всех житейских чудесах!
Я, росс и Гавриил Державин,
о сем писах, еже писах.

РЕРИХ

Фуга

Ты смесь из снега, льда и неба и заката,
отравленная высотой лазурь.

По каменным хребтам стучит врата арата,
где зорь разлила розовая дурь.

Ах, эта вышина и бездна нежилая,
где можно медленно сходить с ума!

Перед тобой разверзлась *Himalaya* -
страна, где блещет вечная зима.

Но все в тенях, как будто неживые,
стоят тибетские костры сторожевые
и охраняют в Божью Землю /+/ вход.

Мохнатый бродит возле скал народ.

Не шелохнется каменная масса,
и из скопой земли не бьет родник,
и говорит скуластый проводник:

- Монастыри и храмы - это *Хласа* /+/.

А на большом снегу стоят как знаки,
как иероглифы диковинные, яки.

Они стоят горбатой стеной,
рогатой и лохмато-шерстяной.

Они жидают мирно и легко,
несут тяжелое, по шуду, молоко.

А при вратах буддического храма
разодранный, как Божья монодрама,
огромный, сизочерный, словно яма,
сидит разинутый бог смерти Яма
и лижет брюхо красным языком.

С такою темной сказкой я знаком,
и пахнут свечи сладкой панихией,
и я стою в куреньи ста свечей.

И молча я молюсь: Эх, Боже мой! Не выдай
меня великой ямине вещей.

+/- *Хласа* - правильное название Лхасы /Божья Земля/.

На ярых высиях, в стороне от бед,
у хриплой смерти на крутом пороге,
разламывая горные отроги
и не сползающей Бог весть куда дороге
стоит жемчужным чучелом Тибет.
И в Ведах его веденье скрыто,
во шлоках заклинательных санскрита.

Бегом от жара в горы скакут льдины,
снега сухие порохом шуршат,
от чистой белизны недвижимы вершины,
и в них сквозит душа Упенишад,
когда таинственно бормочет ум:
о м м а н и п а д м е х у м ,
о м м а н и п а д м е х у м .

А лэмы лысы, и сам Будда пас их -
отары в желтых или красных рясах.
Бесчисленно в стадах монгольских приращенье.
Спит в Петербурге Азия твоя,
о позлащенное коловращенье
с пугливой ланью бытия.

Ом мани падме хум - бормочет стадо
и смотрит в небо угловатым лбом.
Открыто, словно в грозный храм ограда,
бессмысленное слово о м.

Что наша жизнь? Не ячья, не коровья,
а человечья? И тибетский врач
мне говорит и врет в ответ: Не плачь!
Противу смерти есть запас здоровья.

Здоровье в нас - как личной смерти завязь,
и мы живем, самим себе не нравясь,
и говорим недгробные слова,
и криком врач протыкает завесь:
- Что? Крыса там? Бьюсь об заклад, мертв!

Да кто же сдох? Мышонок или я?
— Течет Нева простором нелюдским.
По Петербургу Азия моя
проходит бастивном Щербатским,
с лицом бурхана, долу не клоняясь,
как брахман в шубе или русский князь.

А петербургская зима поет
по-блоковски и по-кабецки,
и бастион мне лену подает
по-княжески и просто по-щербатски.
И я когда-то честью дорожил —
нет, не монашеской, а всероссийской! —
и я когда-то как отшельник жил
поблизости от храмины буддийской.
И вспоминается мне невзначай:
пугливый, словно в зоопарке лама,
в Дарджиллинге сосет душистый чай,
как гость и пленник, Далай-лама.
Средь строгих бриттов тяжелы ему
монашеские нудные оковы,
и приглашает в Хасу потому
размахистого князя Щербатского.
И лень, как лама, в круге бытия
беспомощно-смиренная мадонна.
И в Петербурге Азия моя
и в золоте и в камне и бездонна.
И не грущу я о своих потерях,
пусть я в годах, и пусть мой груз велик.
Я как дубовый древле-русский Рерих
подъемлю в горы свой мордовский лик.
И шерпы над вершиной вознеслися
и заперли последние слова:
Россия, Азия, не мышь, не крыса,
но тварь животная и все еще жива.

И в челюсти зажев, как бы бессмертья кара,
меня жует и душит и трясет
глубь ледяная Гауризанкара
со стужей — стражею космических высот.

Я хэнский внучек, мәленький малай я,
обличий мне не надобно иных!
И дыбится судьбою Himalaya.
Жизнь — как скопление пауз ледяных.

БОСХ

Мозг выполз, как в извивах воск,
епископ посох уронил.
Небось, ты — Бог? Небось, ты — Босх?
Небось, святой Иероним?

И ухо, полное греха,
горит, как плоть, во весь накал,
и сладко корчясь, потроха
людей рожают, точно кел.
На арфе распят голый служ.
Отвисла похоть белым задом.
Пять глаз, как пять пупов, укрылись за дом,
сбежав с рябых грудей слепых старух.
И два отвесных тела рядом,
два оголенных райских дреев —
долдон Адам и баба Ева.
Она круговоротом чрева,
а он напыщенным шишом
бытийствуют, и нет ни лева
ни права в их саду косом.

А страсть тверда как кость, как остов,
как гостья гордая погостов,
и тело кружится, как остров,
в житейском море суеты.
Увидишь о своем часу и ты,
как словно скакут черти в кале
и забивают кол в Господень хлеб,
и как в три яруса по вертикали
вселенский вертится вертел.

А я твой глаз, и взором бос,
и у тебя в когтях храним.
Небось, ты — боль? Небось, ты — Босх?
Небось, святой Иероним?

Грешит седая борода
над раскоряченной любовью.
В огне по горло города
прикованы к средневековью.
У колб, реакторов, реторт
хвостом накручивает чорт,
и атомы летят на части,
и вавилонские напасти,
и всеегипетские казни,
и блудодейнейшие блазни
ползаут, как слизни, в драный нос.
А черный замок, точно печи,
обугленные поднял плечи,
в огне и тьме он — как Патмос.

И Босха дьявольская пасха
от адской радости строга,
когда бесенок за подпаска,
а страсть подъята на рога!

Колдуньиной иглою воск,
скажи, не насмерть ли раним?
Небось, ты — бой? Небось, ты — Босх?
Небось, святой Иероним?

Забрался бес к тебе в ребро,
и раком ползает добро.

И не оно ль того хотело,
что, где-то, клейко забелев,
в обтяжку лайковое тело
надето на прохладных дев?
Отшельник ежится в пещере,
а блуд впился в сосцы беды,
и страхи божьи, зубы щеря,
раздули щеки да зады.

Ах, маленький святой Антоний!
Зевыл, как волк, слепой посул,
и душ вытягивает тони
с апостолами Вельзевул.
Отшельник ежится в пещере,
когда над ним занесены
и блещут тщи, как лота дщери,
и сны, как блудные сыны.
Бесовский рой вещей в пещере
озорничает ввечеру,
вонзая зло и злобу в щели,
вгрызаясь в каждую дыру,
загнав под ногти и под кожу
всесотрясающую дрожь
и привалясь к тебе, как к ложу,
багровою орвой рож.

Всеадье и разгульный пост!
— скользнула ласточкой ятровъ —
Небось, ты — бес? Небось, ты — Босх?
Небось, небесная любовь?

1970

УНИВЕРСАМ

Фуга

Все во мне и я во всем.

Ф.Тютчев

Я думаю, что я себе универсам,
куда я захожу по надобностям разным.
Открыт бываю я и людям и часам,
пространству грузному и хрупким чудесам,
погоде на сердце и пьяным голосам
и кособокой скуке и соблазнам.
Все есть во мне, чтобы по горло жить
/впридачу ко всему и распри даже!/.
Фасованно могу себя я предложить,
готов с утра к великой распродаже.

Завистники-глаза сверкают как витрины,
устраивая трижды в день смотрины,
сквозь них приходит день в универмаг,
облизываясь, будто бешбармак.
Вот полки белые и твердые что кость
нагружены чуть охлажденным мясом.
Утроба нежится, подобная колбасам.
Но кто это "ого!" проокал басом?
Кто взгляд в меня забил как в стену гвоздь?
Не трогайте меня! Своим я занят делом.
А если нужно что, ходите по отделам!

Вон головы мои как лысые сырь
лежат, лишенные и плеч и шеи,
и рады, что в них есть червивые траншеи,
и рады от дыры и до дыры.
Лежат они округло хорошия,
как с неба выставленные миры.
Лежат они не вдалеке от масла,
которое белеющую плоть
поставило стеной, за пряслом прясло,
но в масле не катаются. Колоть
ножом их насмерть не велел Господь,
и по частям они обречены железу
и жизни как вседневному надрезу.

Располосованный наискосок
как лососины розовый кусок
не может рот полунемой открыться.
А кровь густеет как томатный сок.
И из ладони словно из корытца
сухие пальчики как палочки корицы.
И каждый мой отдел не оттого лъ высок,
что мне затылок, темя и висок
украсили и соль и сахарный песок?

Ой, полным-полна моя звеська!
Есть и перец в ней и лук.
Не жалей на слез ни воска,
ни утраты, ни разлуки.

Все есть во мне. И жить как жрать и жрать.
Надежда я свойк, а делу кум.
Могу товар своей рукой-владыкой брать
и по лукулловски жевать рахет-дукум.
Рабочий день, бывает, разворчится,
а в деньгах ветер, свист и кутерьма.
Соскочит с полки беночки горчицы
и в руки прыгает сам...
Чужой огромной жизни послужи-ка,
и прянут пряности в открытый рот как рать,
язык и небо обожжет эджике,
крапивой продерет. А жить как брать и жрать.

Во всякой жизни есть и нужен привкус,
но жизнью торговаться ей-богу нелегко!
Проторговался - так возьмут за гривку-с
да и за солнышко, как за ушко.
Проторговался - так сиди и шамкай,
глядя восторг, как в самый звезд судьбе,
когда универсам с универсамкой
качая сумками идут к себе.

Ой, пустым-пуста моя авоська!
К ней не я ль попался в сеть?
С плеч головушку ты сбрось-ка!
Что ж ей попусту висеть!

Все есть во мне. И незло контроверзэм
чиновничьим и страхолюдью зим
Универсам стоит как универзум,
как суэтливый божий гомозин.
И стену ожидать я с Богом очной ставки,
в полночный час всплеснув по волосам.
И буду ждать из судном на прилавке
когда закроется универсам.

1973

ЗАВЕЩАНИЕ

Фуга

Я продолжаюсь... Этот август - мой,
и я пока еще шагаю без заинки.
Иду по скособоченной тропинке
и возвращаюсь в августе домой.
Но скоро ль разум облачится тьмой
и спрavit по нему жена поминки
и жизнь пойдет предсмертной кутерьмой?
Я с самого рождения жил и рос,
но в старости сгибаюсь как вопрос,
расхристанный хохол иль просто малоросс,
как долгоклювый мертводушный Гоголь,
и спрашивай под шумок, э много ль
недель мне жить? Но азбуки не зная
я припеваючи, как Вечный Жид, живу
и смерть узнаю я не наяву,
а в дряхлом сне. И жизнь моя сквозная
не покидает даже дом,
где Вечным я сижу всегда Жидом
и погружаюсь в гробовые доски
отшучиваюсь, Боже, по-жидовски.
Сгибаюсь мыслями в горбатый знак вопроса,
по-воробьиному клюю рассыпанное просо.
А воробьишка кто? Блаженная пичуга.
А лето покривилось, как лачуга,
от гроз, нагрянувших и с севера и с юга.
От ига старицкого недуга
трясусь, как Вечный Жид иль старый воробей,
робея, будто жук, вонючий скарабей,
катая из вещей ничтожных завещанье
по вечности, покуда еще жив,
пока я Вечный Жид, и, смерти не нажив,
вдоль Августа тащусь я по тропинке.

Кивают мне невинные травинки,
и этим травам я, Бог весть зачем, но рад,
меня по сердцу зеленый их наряд.
Любой травинке я столетний брат

и по моим годам брошу я разом
лохматым барсуком, колючим дикобразом.
Ломаю я надтреснутые сучья,
зане природа у меня берсучья,
и норовлю я в старость как в нору
укрыться, как в последнюю дыру.

Колюч как дикобраз иль даже Божий еж,
живу и ежусь я от старости. Ну что ж?
Какой же рок меня вот так нарек —
старик, зубастый как хорек,
который душит дур и белых кур,
он, бывший белагур и бедокур.
И с палочкой кривой слоняясь меж вещами,
как иероглиф солнца — скарабей,
жене я оставляю завещанье,
как жирный том моих лирических скорбей.
Послушай напоследок, друже Муза,
мне в старости бывает каково,
когда я сам себе великая обуза,
а в целом мире нету никого
опричь тебя. И посредине спора
с моим расстроенным нутром
Ты посох мне и палка и опора,
пока еще далеко Божий гром.
Ты ластишься: пожить еще попробуй!
Пусть, дескать, гинут сверстники твои.
Стихи бегут как по весне ручьи.
Неприрученные, они еще ничьи.
Не стану спрашивать врачей я о прогнозе.
О смерти буду нынче думать сам,
как о мгновенном мифе, как о прозе,
которая не верит чудесам.
Прощаюсь я с собой, и на разлуку
я подаю последней фуге руку.
Авось в краю моих родимых Муз
назло смертям, как дым и даль очнусь.
Авось инобытийствовать я буду
и в десять вечностей я сдуру попаду.
А вечность — будто хлеб печенный на поду.

Помилуй, Боже, грешного зануду.
Сидит он в августе, как бы в густом саду.

В последний раз я спрашиваю, кто я,
как шало я полжизни вопрошал,
не место ли в поэзии пустое
и стих мой, как разбойник, согрешал?
Вопрос горбат. И на его горбу
неужто в рай лирический не въеду?
И что мне зарубить теперь на лбу?
Вся жизнь мне въедлива была, и следу
бесслезного она мне не оставит.
Мой август вечности мне не прибavit
ни к осени, ни к смерти бесконечной,
копеечной, юродивой, увечной.

Авось как Вечный Жид я буду жить,
кому и ни к чему меж строчек шляться,
кто все еще способен размышляться.
Не породнясь я с вечностью земной.
Какая вечность будет жить со мной?
С какой же слажу, рифмоплет сумной?
Авось я буду без задора жить
и попусту ничем не дорожить.
Авось возникну я ничьей водой ручья.
Авось и будет смерть моя ничья.

А Н Т И Г Е Р О И Ч Е С К А Я С И М Ф О Н И Я

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Чтец /от автора, поэтический, а не декламатор/
сиречь ШИИТ

Чтец /вчуже, прозаический, но не рассказчик/
сиречь ТОЛКОВНИК

Главный дирижер, а по-немецки General-Musikdirektor
сиречь ГЕНЕРАЛ

ЧЕЛОВЕК со вступительным словом

Обоеполая ПУБЛИКА, способная к бесполому делению

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

ОРГАН
РОЯЛЬ
СКРИПКИ
КОНТРАБАСЫ
ФЛЕЙТЫ
ГОБОИ
БАРАБАНЫ
ГИТАРЫ
ТАРЕЛКИ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ГОЛОСА:

БАС
БАРИТОН
ТЕНОР

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПАЛОЧНАЯ

As-dur

РОЯЛЬ:

Удэр! Гром древних драм! И треснула земля.
Удэр! И сразу трех за совесть, не за страх,
Матрех Петрух по сусалам трах!

ГЕНЕРАЛ:

Пляшите, флейточки!

ФЛЕЙТЫ:

Ля, ля, ля, ля!
Келя-меля, келя-меля!

ПИИТ:

Я не хочу быть никаким героем,
ни смертно, ни посмертно не хочу.
Уж мы им с Музой музыку устроим,
уж мы им вставим в бравый зад свечу,
уж так-то раскроим нутро им!
Без такта! Виноват, не промолчу!
Пол слова дайте трепачу,
и я тихонько под нос промычу,
что изойдут нэ кал и нэ мочу.

ГЕНЕРАЛ:

Пляшите, скрипочки! Летайте легче моли!
Играйте, цыпочки,
привстав на цыпочки!

СКРИПКИ:

Скрип-скрип!
Цып-цып!
Цыпа-дрипа,
Цыпа-дрипа,
Цыпа-дрипа ля бемоли.

ПИИТ:

Я, как Иаков, с Богом воевал,
а вышел нэ поверку просто Яшка,
орешек, самого себя двояшка.

ТОЛКОВНИК:

Бежит с седою головою вол
из музыки.

ПИИТ:

И дышит тяжко.

А Яков — бык с колхозной кличкой Як.
Он рогом тык и каждому свояк.
А рядом с ним, как недруг или враг,
задрипанный и драный Як-Цыдрак,
поклонник девок, рюмок, дров и драк,
и тут же третий, Як-Цыдрак-Цыдроли,
который, не вступая в брак,
нащупывает дрянь и дрязги в дроле.
И он такой герой,
что дуй его горой.
А трое в сумме не деръмо ли?

ВСЕ /TUTTI/:

Вот женился Як на Цыше,
Як-Цыдрак на Цыше-Дрипё,
Як-Цыдрак-Цыдроли
на Цыше-Дрипё, ля Бемоли.

ТОЛКОВНИК:

Это, разумеется,
детская песенка,
ибо жениться
нельзя без ребячества.
Учитите это!
Развесьте уши
И слушайте дальше!

ГЕНЕРАЛ:

Эй вы, контрабасы!
Вы толстомясы
будто колбасы!
Стать строем, как Троя,
гуденье утром,
и каждый всем брюхом
играй в героян.

КОНТРАБАСЫ:

В герои лезть мы рады все.
Ура! Абракадабра!
Но как играть на колбасе
трагически и храбро?

ВСЕ:

И будем мы, как люди, ржать
у ног Абракадабры,
чтоб жизнь хоть как-то удержать
за липкий хвост и жабры.

ПИИТ:

Театр огромен, как сарай сырой,
где проживают тьму ролей и ролек,
и может быть тот истинный герой,
кто от себя бежит, как робкий кролик,
понеже в нем велик и нежен дух,
и суть свою под хвостиком он прячет,
сынок натуры, милый лопоух,
предсмертно скакет и отважно плачет.

РОЯЛЬ:

Оплачивают каждый Божий дар,
резиня рот, испуганные морды.
Звенят слезы. Удар! Еще удар!
И полуспящие аккорды.

ВСЕ:

Туда-сюда и так и сяк.
Нелым попался добрый,
и мы с ним пляшем краковяк,
под зёбры взяв, под зёбры.

ТОЛКОВНИК:

Зел молчит, как огород,
где произрастают головы
с развешанными ушами,
а музыка
подается запеченная в раковинах
или в капустных листьях.
Полусыре мясо музыки
рвут зубами
только музыкоеды,
ибо у них
по недоброжелательству природы
отсутствуют уши.
Капуста женского пола,
та самая, на которой сто ризок,
собирается лезть на эстраду
и носить на руках дирижера,
как грудного младенца
или героя во фраке,
по мению коего
бедный оркестр
скакет, как мальчик,
верхом на палочке.
А дирижер-то
вовсе и не герой,
и палочка у него ломкая.

ПИИТ:

И если есмъ я сам себе судьба,
то музыка есть древняя борьба,
когда оплоумевшие звуки
друг друга жмут и гнут, как раб раба,
ломая ребра, и хребты, и руки.

Блаженный хруст руки и нежный треск ребра,
пенический восторг и страшная отрада,
энтой симфонический, мажорная жара
и, как страда, раскинулась эстрада.

ЧЕЛОВЕК СО ВСТУПИТЕЛЬНЫМ СЛОВОМ:

Прекрасные дамы и господа!
Дамы прекрасные непременно.
Да и мужчины, откровенно говоря, хоть куда,
а попросту люди и джентльмены!
Со временем каши никак не сварить,
а заварить, пожалуйста, раз - и готово!

ТОЛКОВНИК:

Оркестр пришился,
а дирижер-генерал
красуется, как нуль без палочки.

ЧЕЛОВЕК СО ВСТУПИТЕЛЬНЫМ СЛОВОМ:

Я опоздал, но буду говорить
и посередь музыки вступительное слово.
Лучше в середине, чем никогда,
прекрасные дамы и господа!
Музыка - только фон, а на сем фоне я
не менее важен, нежели симфония,
ибо говорю я быстро и шустро,
голос у меня просвещенный, как эта люстра.

ТОЛКОВНИК:

На бесчувственную эстраду
лезут девки
с растрепанными взглядами,
с растопыренными букетами,
со вспотевшими, как подмышки, душами
и прочим баражлом.

ЧЕЛОВЕК СО ВСТУПИТЕЛЬНЫМ СЛОВОМ:

Мнения я приглашу и приласкаю.
Итак, часть первая написана в as-dur.

ОРГАН:

Топчите же эстраду! Я вас, дур,
к служению искусству допускаю,
зане вы к музыкальной ночи сны,
зане и днем вы все равно честны,
искусству вы воистину весталки
усталые, торжественны и жалки,
живете ёлки-палки из-под палки,
ликуя, будто звуки в перепалке.
Зане вы - крохотные героини,
и ваше тело поднялось, как тесто,
пусть на дрожжах, пускай на геройне,
до жалостно-распужшего протеста

из тесненькой одежды, как из дежи.
Пусть музыка уже не та, да вы все те же.
И то сказать, немного в вас красы-то,
зато без вас искусство и не сыто.
Я под добру вам, девы, рокочу.
Садитесь! Всех на трубах прокачу!
Простите, что сужу о вас так узко!
Как водка музыка, зато вы к ней закуска.

ШИИТ:

Герой - ура дурак! В музыке, как в раине,
он на окраине чертополошьей жизни,
и как Овидиевы героини,
идут к нему ручьи, телицы, лавры, слизни,
и лягвы бледные протягивают ляжки,
а бабочки - чувствительные сяжки,
а свиноматушки - окорока,
дабы возрадовать героя-дурака.
Итак, да здравствует премудрая Муре!

ГЕНЕРАЛ:

Ударники! Вступайте! Где вы там?

БАРАБАНЫ И ТАРЕЛКИ:

Стараться рады! Трам-там-там!
Трам-тара-рем! Ура! Ура! Ура!

ВСЕ:

На дворах и в миражах - дыра на дыре,
на дворах и в миражах - муре на муре,
тарахти и слева и справа.

ВСЕ С ХОРОМ:

Вечная слава премудрой Муре,
управителю с палочкой слава!

ХОР:

Землю носом, как рабские боги, роем.
Оркестр раздувается, что кутырь.

ШИИТ:

А дирижер стоит героем,
как тараканий богатырь.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

БАРЫНЯ

c-diz

ГЕНЕРАЛ:

Духовые! Гряньте духовитей!
Шпарьте во весь дух,
но не очень-то хамите!

ДУХОВЫЕ:

Ах! Ох! Эх! Ух!

ГЕНЕРАЛ:

При, тромбон, э ты, фагот,
не запаздывай на год!
Помогай вам бог Амур!
Дуйте эту часть в c-diz.

ЧЕЛОВЕК СО ВСТУПИТЕЛЬНЫМ СЛОВОМ:

Обратите внимание, какая из с-diz'a
будет музыкальная процедура!

ТОЛКОВНИК:

Обратите внимание!
Какая мелодия!
Запросто, попросту,
глубина народная.
Песня во славу
женского пола,
песня, которую
поют мужики
и топочут, и топчут,
и гогочут,
и трепыхаются,
как петухи на курицах.
Волюшка-воля!
И нет житья!

ВСЕ:

Ах ты, воля вольная!
Ах ты, доля женская!
Волюшка раздольная,
только нет житья.

ХОР:

Барыня ты моя!
Сударыня ты моя!

ВСЕ:

По улице метелица
как подстилка стелется,
а стельная коровушка
мычит, да не телится.
Закрома зернистые,
утробушка амбарная!

ХОР:

Барыня, барыня!
Сударыня-барыня!

БАС:

Каждый день у ней в году
все, что надо, на виду.
^уПодсобила бы судьба бы!
Ибо барыни суть бабы,
подавай им соловья!

ХОР:

Барыня ты моя!
Сударыня ты моя!

БАС:

Барыня с перебором,
извялялась под забором.

ХОР:

Барыня, барыня!
Сударыня-барыня!

БАС:

Барыня с буквы "б",
некось кой-чего тебе.
Барыня тянет руку
и хватает эту штуку,
как ворон воробья.

ХОР:

Барыня ты моя!

БАС:

За крутила, завязала,
слово ласково сказала,
дескать мы-ста ты да я...

ХОР:

Барыня ты моя!

ПИИТ:

Блажен, кто в жизни убежал от жен
/пчелиный рой - ох, не лебяжий пух/
и жадным желом их не поражен,
от горести и страсти не распух.
Блажен тот гость, который мимоходом
хозяйкиным не вымазался медом,
а лишь ушами хлопал, как лопух.
Блажен стократ, кто не поддался дэмам,
смотря на них устало и постыло,
и этаким фасонистым Адамом
не заходя к ним ни анфас, ни стыла.
Блажен, кто убежал от их большой красы
и по дороге потерял трусы
и ночью в одиночестве большом,
чеша в затылке, плачет нагишом.

ГЕНЕРАЛ:

А теперь начинается соло
из огуречного рассола,
соло вокальное,
отнюдь не охальное.
Исполнит его баритон,
знаменитый солист Харитон.
Немало он поломался,
но выступит в жанре романса.

БАРИТОН:

За милых женщин,
прелестных женщин...

ГЕНЕРАЛ:

Да что же замолк ты, старый гриб?
Или от радости охрип?
Ты у меня запоешь или вылетишь скоро!

БАРИТОН:

Простите, но я не могу без хора.

ГЕНЕРАЛ:

Эй, вы! Русалки и хоралки,
орать извольте из-под пальки,
чтобы стоял и вой и визг!
Извольте петь на свой страх и риск,
ибо без страха и без риска
не может прожить ни одна хористка.
А хор да будет славой увенчен!

БАРИТОН:

За милых женщин,
прелестных женщин,
любивших нас.

ЖЕНСКИЙ ХОР:

Не из-за глаз!

БАРИТОН:

Из-за жилья,
из-за жилья!

МУЖСКОЙ ХОР:

Барыня ты моя!
Сударыня ты моя!

БАРИТОН:

Мы женщин славим
восьмого марта,
цветы им дарим.

МУЖСКОЙ ХОР:

Ох, "вот" кошмар-то!

ГЕНЕРАЛ:

Ошибка вышла на целый тон.
Вам петь в кабаке, господин Харитон!
А соло исполнит прекрасный тенор,
Выступает во фраке, поет как кенар.

ТЕНОР:

Я помню чудное мгновенье —
передо мной явилась ты,
как нежный камень преткновенья
в одежде голой красоты.
И стало на душе тревожно.
Но что же толку ворожить?
И мыслил я, что невозможно
меня без тебя и дня прожить.

СКРИПКИ:

И ты была подобна скрипке,
дрожала ты не с той струны
и нежно ухватясь за штрипки,
тянула ты с души штаны.

ТЕНОР:

Душе настало пробужденье —
и мечу я вопросом в бровь:

да что же это , наважденье
иль позабытая любовь?
И вилами не нө водэ ли
признанья буду множить я?
Иль без тебя не самом деле
не стало в жизни мне житья?

ВСЕ:

И во всей любовной сени
Эхма! Нет ни соловья!
Барыня ты моя!
Сударыня ты моя!
Барыня с буквы "б",
ничегошеньки тебе!
Барыня, барыня,
сударыня-барыня!
Ни слуги, ни холуя!
Барыня ты моя!

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

МЕНУЭТ

A-moll

ГЕНЕРАЛ:

Боже мой! Нежно вступайте гобой!
Мягко как штофные обои,
чтобы и белое и голубое
было как небо весной
над дымкой лесной.
Будьте, гобой, как гобелены,
чуть слышным шествием стройных пар
изображая, как в честь Елены
сонет сочиняет старый Ронсар.

ГОБОЙ:

И минуют где-то
пары менуэта
чёредой печальной...

СКРИПКИ:

Другу-ую жизнь
и берег да-альной...

БАС:

Эй, держись!

ТОЛКОВНИК:

Слышите, как в оркестре
протекает Сороть?
Это мирная речка,
вполне идиллическая,
буль, буль, буль.

ЧЕЛОВЕК СО ВСТУПИТЕЛЬНЫМ СЛОВОМ:

Послушайте, родимые, Еromoшку!
Как девку, он тискает гармошку,
и звуки за волосы таская,
живет во всю мочь губерния плюсская.
Цокаает, как кони, псковский говор,
якает горестно мужицкий гонор,
трепещут крыльшками мужики,
гудят, как самые что ни есть жуки.

ПИИТ:

О сколь любезны вы, усадьбы, нивы, села,
и жизнь моя, как свадьба, веселья.
Рассстался я с большой и невеселой
судбою Царского Села
и буду гордо в одиночестве нагом
шагать Тригорского кругом.

БАС:

Ягор!

ТЕНОР:

Чево?

БАС:

Подай багор!

ПИИТ:

Как самовар вскипает естество,
когда я вижу женственный бугор
весеннею травой одетый.

ГОБОИ:

И минуют где-то
пары менуэта
чередой печальной...

СКРИПКИ:

Другую жизнь
и берег да-ельной!

БАС:

Эй, держись!
Кажись
задело
за тело.

ЧЕЛОВЕК СО ВСТУПИТЕЛЬНЫМ СЛОВОМ:

Снует по Сороти челночная флотилия
и начинается крокодилья идиллия.

СКРИПКИ И ГОБОИ:

А в ответ на это
тенью силуэта
проплывает где-то
дева менуэта
и убор венчальный,
белый и печальный.
Тонкая русалка
вспоминает жизнь.

БАС:

Эй, держись!

ТЕНОР:

Да чай жалко!

ПИИТ:

Ягор — герой. Ягор — почти Ясон.
Прогнал он батогом ягу Медею.
На дне речном построил я сон,
но даже этим сном я не владею.

ДВЕ ГИТАРЫ:

Далеко отсюда до Валдая!
Колокольчики и бубенцы!
И уже дорогой не владая,
не пора ли отдать концы?

ТЕНОР:

Жалко! Молодая!

ТОЛКОВНИК:

Сороть тиха и пре красна,
и удить в ней можно,
как в жизни.
Попадается всякая рыбка.
Водятся в Сороти и русалки.
Егор утопленницу
подцепил багром.

ПИИТ:

Когда весенний первый гром,
каратель жалостных элегий,
на раскоряченной телеге
проехал где-то за бугром.

ГОБОИ И СКРИПКИ:

Исчезают где-то
пары менуэта
и плывет русалка
наготой одета.
Песня, дескать, спета,
песня-дребежалка.
Флейтка-визжалка!

ВСЕ:

Жалко!

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ЯРМАРКА

ЧЕЛОВЕК СО ВСТУПИТЕЛЬНЫМ СЛОВОМ:

А вот, господа, и четвертая часть.
Сюда бессчастная доля шесть!
Выбирайте товар на ярмарке.
Покупайте хоть страсть,
Хоть любую касть!
А можно и запросто украдь,
хоть ятра, хоть яйца, хоть яблоки.
Хватай, кто до чего охоч!
Да только счастья себе не пропчь!

ТОЛКОВНИК:

Посетите балаган
из размалеванной музыки!
Смотрите ярмарочный балет
на рыночной площади!
Вы не увидите здесь долгоносого Блока,
а только похожего на него
Петрушку.
Он не будет лапать незнакомку,
а только тосковать
по куколке-балериночке
с заводными ручками и ножками,
с поддакивающей головкой,
по безымянной девочке,
которая никого не обидела
и не обманула.

ПИИИТ:

И врет, болван. Ему не толковать,
а на башке чугунный кол ковать.
Крестил ее в купели я,
и звать ее Коппелия.
Она не дева и не бледнь,
топочет каблучками,
и ей легко в себя влюблять
и делать дурачками.
Восторг и шопота поток
бушует в балагане.
Стучит каблучный топоток,
орут "ура" цыгане.

Идет в уездном городке,
в каком-нибудь Валдае
собачья жизнь на поводке,
как зорька молодая.
И кто-то взявшись за боки,
хмельною песней начнет,
и сам, как символ кабака,
и плачется, и скачет.
Гундосят скудные скопцы,
толстеют свахи и купцы
и смотрят на Петрушку,
который жрет ватрушку
с изрядно-кислым творогом
в безумии недорогом.
А кукла ток, ток, ток, ток, ток —
топочет бойко на восток,
бежит с пригорка зорькой
от жизни зло-горькой.
От жизни воинской как чеснок
здесь веяются все вещи с ног,
а люди держат в лапах
мясной звериный запах.

ГЕНЕРАЛ:

Бей, турецкий барабан,
во всю мочь с нахрапе,
зазывая в балаган
голосом арапа.

БАРАБАН /АРАП/:

Бух! Бух!
Ух! Ух!
Я разбух!
Я распух!
Ух! Ух!
Как гросбух!

ОРГАН:

Будут, громадны и грубы,
гудеть и свистеть мои трубы,
ибо я великий орган,
и, право, дам,
как ток по проводам,
дам в балаган.

ВСЕ:

Гэм! Гэм!
По ногам,
мужикам
по рукам!
Гэм! Гэм!
По богам,
по смазным
самогам!
Идет-гудет
на балаган
огромный гэм,
народный гэм.

ГЕНЕРАЛ:

Струнные! Спяняе -
вкрадчиво, piano!

СТРУННЫЕ:

Ах, с какой тоской,
с бравой вытеской
по Тверской-Ямской
да по Питерской.

ГЕНЕРАЛ:

Эй, тенор,
с отвислой
кислой
харею,
начинай петрушечью арию.

ЧЕЛОВЕК СО ВСТУПИТЕЛЬНЫМ СЛОВОМ:

Петрушка - не шут, а парень-рубаха,
исполняет Стравинского и Оффенбаха.

ТЕНОР /ПЕТРУШКА/:

Я липовый, но не чурбан
и сердцем слабым беспокоясь,
охватываю белаган,
показываясь лишь по-пояс.
Сердце! Тебе не хочется покоя!
Сердце! Как тяжело на свете жить!
Сердце! Как хорошо, что ты такое!
Что ты не можешь, ну никак не можешь не тужить.

ТОЛКОВНИК:

Это повышение артериального давления
и гормональная гиперфункция.
Затрудненное дыхание,
как при грудной жабе.
А все эти симптомы
свидетельствуют
о том, что Петрушка
влюбился.

ЧЕЛОВЕК СО ВСТУПИТЕЛЬНЫМ СЛОВОМ:

А балериночка идет по проволоке с зонтиком.
Такая, извините за выражение, экзотика.

ПИИТ:

Не героиня и не блэдъ,
не дева-поленица.
Ей суждено в себя влюблять,
но может полениться
изобразить ему на миг
Марину, Риту, Нату

и удалиться непрямик,
как в пропасть, по канату.

ДВЕ ГИТАРЫ:

Пароход идет "Анюта".
Волга-матушка река!
На ем розова каюта.
Заливает берега.

ВСЕ:

Ах, с какой тоской,
с полной вытяжкой
кабак ревет,
питухи поют,
Петрушка бьет
и Петрушку бьют
на Тверской-Ямской
да на Питерской.

ТЕНОР /ПЕТРУШКА/:

А балериночка
Мальвиночка,
ненаглядная девочка
идет по проволочке
в розовой юбочке
и кружевых панталончиках.
Сердце, тебе не хочется покоя.

ВСЕ:

Сердце! Как тяжело на свете жить!

ТЕНОР:

Сердце! Вот, значит, ты какое!
Отказываешься, значит, мне служить.

ВСЕ:

Ходит день-деньской
брав казак донской
в сбруе рыцарской
по Тверской-Ямской,
по Тверской-Ямской
да по Питерской.

ТОЛКОВНИК:

А балериночка
молча
идет по проволочке
и опускается
в черный ад
к арэцу,
и длинноносый Петрушка,
как загрустивший Буратино

и потускневший
на похмельи.
Блок,
боится сунуть нос
в их интимные отношения,
ибо он не сторонник реализма
и в балагане
у него
своя,
небеленная до боли,
нарумяненная до радости
щемящая,
нос прищемляющая
правда.

БАС:

Не земле весь род людской
пребывает в балагане
до последних содроганий.

ВСЕ:

На Тверской-Ямской
да на Питерской.

ТЕНОР /ПЕТРУШКА/:

Бегу бегом от жизни зычной
с засунутой в керман душой.
Я деревянный и тряпичный
с судьбишкой очень небольшой.
Так пусть же грянет гром кирпичный
и повернется вверх дырой,
к вам протянув, как руки, ноги,
языческие злые боги,
герой в страдательном залоге,
герой от горьких слез сырой,
и в кровь расквашенный герой.

ВСЕ:

Балаган ревет
будто Страшный Суд,
где Петрушка бьет
и Петрушку бьют,
на Тверской-Ямской
да на Питерской.

БАРАБАН /АРАП/:

Ах, собачий брех,
человечий страх!
Из-за трех Матрех
по суслам трах!

ВСЕ:

На Тверской-Ямской
да на Питерской.

БАРАБАН /АРАП/:

Разудалый — удалой,
он с копыт долой,
а он брык с копыт
и, как пьяный, спит.

ВСЕ:

На Тверской-Ямской
да на Питерской.

ПИИТ:

И пошел по мордасам разнос,
и чтоб кончить с длинным вопросом,
натянули Петрушке нос,
и остался Петрушка с носом.
О том, что такое любовный дурман,
не судите простоволосо!
Сунул Петрушка нос в карман
и остался Петрушка без носа.

ВСЕ:

Эх, грех, веселись!
Веселись, грех людской!

ТАРЕЛКИ:

Сифилис!
Сифилис!

ВСЕ:

На Тверской-Ямской
да на Питерской.

ЧЕЛОВЕК СО ВСТУПИТЕЛЬНЫМ СЛОВОМ:

Все это растолкую легко я.

ХОР:

Со святыми, Господи, упокой!

ТЕНОР:

Сердце! Тебе не хочется покоя.

ЧЕЛОВЕК СО ВСТУПИТЕЛЬНЫМ СЛОВОМ:

Да какой уж, прости Господи, в гробу покой!

ПИИТ:

Как вши под ноготь, богатыри
посмевшие смерть переупрямить.
Долой героя!

ХОР:

— Но ему сотвори
Вечную память!

ПИИТ:

Лежит Петрушка безнос, безглас,
и хор безглесный ему как раз.
Плывет по волне голубой русалка,
а в итоге Божья рука да палка.

ВСЕ:

Далко!

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

Marcia funebre

РОЯЛЬ:

Тише вы, души! Хоронят героя.
Горе звей иль запей иль залей!

ПИИТИ:

В драме любовной кареются трое.

ВСЕ:

В трауре кони. Петрушечья Троя
рушится.

ПИИТИ:

Музыки мясо сырое
Троє одров повезли в мавзолей.

ГЕНЕРАЛ:

Больше надрыву! И в прорву миноров!
Струнам повиснуть, как призракам кос!

ТЕНОР /ПЕТРУШКА/:

Господи Боже! Пошли же ми норов
даже из гроба высунуть нос!

РОЯЛЬ:

В трауре кони. Рушится Троя.
Хоронят без мазей, костров и дров,
и в мавзолей провожают троє

ВСЕ:

Троє одров!

МЕДНЫЕ:

Были когда-то и мы гусаками...
Как нас дразнили на нашем веку!

Были когда-то и мы индоками!
В орденской моши мы были и в силе,
певшую с клюва на шее носили
ленте подобную с кровью кишку.
Мы утопали и в славе и в сале,
гогот гусиный шагал по земли.
Гоготом этим мы Римы спасали,
только вот третьего, ах, не спасли!

ПИИТ:

Лежит Петрушка, в гроб захатый.
Любить — какое ремесло!
И с пьяной тенью провожатой
его в могилу понесло.

ЧЕЛОВЕК СО ВСТУПИТЕЛЬНЫМ СЛОВОМ:

Плачет кукольными слезками балериночка!
Очень хорошенькая, как картиночка.
И, как турецкий барабан, криволап
в похоронную сторону драпает арап.

ТОЛКОВНИК:

Как уже было сказано,
то бишь сыграно —
трое в любовной драме покараны.
Любовь похоронят
и будь здоров!

БАРАБАНЫ:

Тroe одров!

ВСЕ:

Были когда-то и мы барсуками
на лисьем, на рысьем, на волчьем меху.
В глазах окривелых торчали суками
и гайками жили со скрипом в цеху.
Мы испепеляли сердца без луини,
не глупый предмет не расходя дров.
Копыт не ломая, шагали мы щинно.

БАРАБАНЫ:

Тroe одров!

ПИИТ:

Насело небо серою вороной
средь бела дня. И марш идет дождем
чёрнеющим, большой и похоронный,
и мы на кладбище бессмертья ждем,
как лошадь в хомуте, в тоске упрямой.
Нырнул в хомут, как в омут, темный ум,
и колокольня пиковою дамой
бубнит торжественно и мрачно: Бум! Бум! Бум!

И крестится последняя старушка
в испуге от последнего добра.
А тенор плачется: Что наша жизнь? Петрушка!
Та самая, а вовсе не игра.
Старушка, как колодэ, раскололась,
и вся дорога будто от и до,
и, как на верхней проволоке, голос
дрожит, повиснув на последнем до.
И вот из гроба нос куда ни сунь я,
какую шутку я ни заготовъ -
тото четь ножками бессмертная плясунья,
и пляшет в теле кукольном любовь.
И реквием, и нении, и драпа
встают вокруг в единую тугу,
и я, Петрушка, заправлять арапа,
ей-богу, больше не могу.

ТОЛКОВНИК:

Итак, любовь покарана,
и мертвое тело
с длинной-предлинной виселицы
брошено
в ров.

ВСЕ:

Идут из конюшни, окончивши дело,
идут оголтело, идут обалдело
трое одров.

ФЛЕЙТА:

Душу озлобили нам с того света.

ТЕНОР:

La donna è mobile
qu'el rîche al vento.

ПИИТ:

Кони-покойники, без облыганий!
Кому быть в ножах, а кому и в жертвах.

ВСЕ:

Красный Петрушка в больном балагане
воскресе из мертвых.

БАРАБАН:

Нообум.
Бум! Бум!